

Есть догматы, и мы о них спорили, допуская или не допуская их приращение. Но есть еще догматизм как такое устройство ума, связанное с надеждами сердца, из которого произрастают самые догматы, как из вдохновения произрастает поэзия. Вот об этом-то вдохновении церкви от IV и приблизительно до VII века, когда было построено догматическое христианство, я и хочу здесь говорить.

Евангелие нечто утратило бы в себе, и утратило бы существенное, в чем и открылся людям его небесный характер, если бы исключили из него те несколько слов Спасителя, где Он начертал целостный образ угодного Ему человека, дал фигуру ученика своего, «верного» Своего: «Взгляните на лилии полевые: они не имеют одежд, но истинно говорю вам, что и Соломон не был прекраснее их в убранствах своих; взгляните на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их». В 33 года жизни Спасителя воздушные облачные сферы как бы свились над землей и небо и земля коснулись друг друга осязательно, непосредственно. Но не удовольствовался человек этим. Ему захотелось «одежд». Он вознамерился стать несравненно красивее этих евангельских лилий, рыбаков Петра и Андрея, Нафанаила и Иоанна; и вот, как Адам, не послушавший Господа, начал шить себе одежды, так, не послушавшись предостережения Спасителя о лилиях и птицах, христиане начали шить полотноща догматов между IV и VII веками. На место Галилейских рыбаков выступили так называемые «учители церквей»: Петр и Андрей сменились Оригеном и Климентами. Ни один из представителей церкви не отвергает, что за золотым веком христианства наступил, по крайней мере, серебряный, а я думаю и меньше, хуже.

Растительное христианство начало преобращаться в каменное, по-видимому, более твердое, но не живое. Свеаборг хорош, не спорю, но финский художник не срисует с него картин, ни птица гнезда не совьет в нем и не выведет детенышей. Работу догматическую над своим устройством я называю саморазрушением христианства и проистекшим из какого-то не то отчаяния о Боге, не то из простого уличного легкомыслия. На базарах Византии торговки и торговцы спорили об «единосущии» или «единокачественности» Отца и Сына. К чему? Я думаю, это было уличное легкомыслие. Но когда эти же споры внеслись под своды Императорских дворцов и в них приняли участие так называемые «учители церкви», я не могу назвать это иначе, как отчаянием о Боге. В словах проф. Лепорского о догмате я нахожу признание ненужности вообще догмата. Во-первых, он сказал, что догмат «непостижим», во-вторых, он сказал, что догмат «уже содержится в Евангелии». Позвольте, что же это такое, зачем же великолепное слово Евангелия переделывать в сравнительно гнилое слово догматики? Ибо, кажется, весь мир признал, что чудеснее Евангелия, во-первых, по простоте и, во-вторых, по мудрости не появлялось ничего. Из слов профессора догматики Лепорского я заключаю, что вселенские соборы занимались гнилым делом переделки простого в непростое и мудрого, может быть, в не очень мудрое. Лилию полевую, с цветочками, с листочками, срезали, размочили в воде плохого красноречия и ссучили из нее веревку, на которой можно только удавиться. Я говорю, тут прошло отчаяние о Боге и легкомыслие относительно Евангелия. Возьмите «учение о Троице». В Евангелии это — чудные речи Спасителя об Отце Небесном, и речи Самого Отца Небесного. И в виде голубя Дух Св. сходит на крестящегося Спасителя. Все — картина. Все — умиление. И вот умиленные земные травки склоняются перед Небесной Лилией, в простоте грядущей на ослице: «Осанна Сыну Давидову: благословен Грядый во имя Господне». Я говорю, небо и земля касались осязательно. Теперь, что же сделано было потом, по кафедре догматического богословия, так сказать, «в снедь» проф. Лепорскому? Из всего этого человеческого умиления, и слез, и картин, из неясного и бесконечного богатства евангельских слов выстрогали логическим рубанком доску: «Бог есть Дух, поклоняемый во Св. Троице». Да, позвольте, для чего мне это знать «как догмат», когда я это читаю в Евангелии: но там я это читаю в богатстве таких подробностей, в таких тенях и полутенях, в звуках такой нежности Сына к Отцу, такой живой и органической между ними связи, от которой в доскообразном «догмате» ничего не сохранилось. Ведь это все равно что вместо Пушкина читать какое-то рассуждение Скабичевского о Пушкине; одно и то же, но только хуже в нищенском безобразии. Иногда поднимается вопрос или слышатся намеки на какую-то реформу Церкви: нет для этого более надежного и краткого средства, как закрыть в академиях и семинариях все кафедры догматического богословия и канонического права, а книги по наукам этим поместить в список неразрешенных к чтению. Это значит сразу закрыть для публики сотни Скабичевских и открыть ей Пушкина; в отношении к христианству — это значит начать вдыхать «душу живую» в красную глину, из которой слеплен, ожил было и снова умер «во грехах» Адам христианства.

Во вселенских соборах, их догматизировании, их применении логического начала к нежному и неизъяснимому евангельскому изложению и превзошло смертное начало, «неодушевленная глина» к юному телу первозданного христианства. Как было не поразиться тем, что сам Спаситель, за исключением минуты в храме наедине с грешницею, ни разу не взял пера и не написал ни одного слова. Ведь догмат — нечто каменное, твердое. И ни одного такого каменного, недвижимого догмата Спаситель не оставил людям. «Идите ко Мне, человецы, я научу вас догматическому богословию» — такого слова не сказал Спаситель людям, а если бы такое безобразное слово поместить в Евангелие, то страница с этим словом вдруг потухла бы; перестала бы светить привычным нам небесным смыслом. Поэтому когда проф. Лепорский, заглядывая в коридор академии, говорит: «Студенты, идите, я буду преподавать вам догматическое богословие», то он последует во всяком случае не Спасителю, а скорее всего Скабичевскому.

Итак, Спаситель не дал догмата, самого духа его, этой «таблицы умножения» религиозных истин. Но и вот еще доказательство адогматизма, так сказать, души христианской. Ведь христианство в глубине его, в чарующих его особенностях создано уже никак не умами от Оригена до Лепорского, труды которых знают только академики, а оно вышло все из народных вздохов, народного умиления к Богу, из таких молитв, как Херувимская, из таких житий преподобных «авв», трогательные примеры которых, например, разбросаны в «Луге духовном» Иоанна Мосха. Жили в пещерах, в кельях, на далеких расстояниях эти «аввы» и изредка перекидывались друг с другом кратким словом, кратким «здравствуй», приветствием, или коротким в три строчки поучением. Эти «аввы» — отшельники — еще продолжение евангельских лилий, так же просты и мудры, а не учены и не велеречивы, как стали последующие Златоусты, Кириллы Александрийские и вообще строители больших томов и библиотечного христианства. Все слово Божие Нового и Ветхого Завета умещается в одном томе, а Кирилл Александрийский один написал гораздо больше Бога. Вся эта вода красноречия, потребовав к себе внимания, углубления в себя, разбора своих мнений и примирения своих противоречий, отвлекла души от вечного и исключительного умиления словом Божиим. Архимандрит Антонин говорит нам об «экскоммуникативности» христианства; применяя его слова, мы скажем, что Евангелие и так называемые «учители Церкви» экскоммуникативны по отношению друг к другу: в них дух различный, метод не тот, противоположен способ действия на душу, орудия действия. И все «свято-отеческое» аевангелично, а все евангельское — асвятоотечесственно. Это как Валаам: и «пророчество» — да не то, и горячее слово — но уже не от Бога, а от себя.

Все ереси и самое еретичество и произошло из этого догматизирования, догматизма. Просто нельзя себе представить еретика среди полевых лилий, в их запахе, среди их цветов. Не было ни одного еретика из «авв» Фиваиды. Ересь — городское явление. Это в торговой Александрии, в шумном Константинополе, по Сирийскому торговому побережью, вообще в условиях библиотечности начали появляться еретики. Каждый из них есть неудавшийся «отец Церкви», «учитель Церкви», или, скорее, скажем так, что еретики суть учителя Церкви, на которых было посмотрено, как на транспарант с ярким освещением позади его, так что все ошибки выступили в яви, тогда как остальные учителя Церкви не получили в свое время освещающей лампы позади и похожи на транспаранты, не вынутые из ящика. Года три назад я взял 6 томов Кирилла Александрийского и начал читать. Это гораздо хуже, чем у Скабичевского: такого неуважения к слову Божию, таких почти каламбуров в отношении к нему цензура бы не пропустила сейчас. Из множества подробностей приведу одну: он занимается вопросом, «Отчего Бог шел перед Израилем в виде столба огненного?» И разрешает: «Для того, чтобы знаменовать выражение Апостола Павла о Церкви: «Церковь есть столб и утверждение истины». Это все равно, как если бы спросить: «для чего была война 12-го года?» И ответить: «для того, чтобы на циферблате часов цифра 12 знаменовала середину дня». Несоответствие, разнокатегоричность явления Божия Израилю и простого литературного выражения, словооборота в одном из апостольских писаний — поразительны. Бог явился грамматической фигурой для строки, имевшей быть написанной через 2000 лет. Так можно объяснить, что Иаков в ночь, когда он боролся с Богом, лег на камень, дабы пророчесственно предсказать слова Христа: «Ты Петр, и на сем камне воздвигну Церковь Мою». И много таких разъяснений могли бы сделать семинаристы в свободную перемену, но от них удержался бы студент Академии или Университета. Но вот Ария все читали и волновались, позади транспаранта был поставлен свет; Кирилла читали мало, его смутные и неважные мысли никого не волновали, ничего определенного не задевали, и на заглавной странице его трудов пишется: «Иже во святых Отца нашего Кирилла Александрийского творения». Наконец, недавно мне пришлось прочесть несколько статей Афанасия Великого. Да, серьезно все, хорошо, основательно. Но ничего поразительного, трогающего, умиляющего, — все в высшей степени обыкновенно, человечно, — и только неприятна постоянная желчность страниц, чисто логическая воспаленность против Ария, торопливость в наборе текстов против его учения об «единоподобии», а не об «единосущии» Слова и Отца. Наконец — и здесь я закончу, — я прочел у Василия Великого рассуждение о постах: «К великому учреждению поста, — рассуждает он, — начало было положено уже в невинной райской жизни человеков: именно таковым началом было ограничение употребления плодов от дров райских и запрещение вкушать от древа познания добра и зла». И без объяснений слушатели поймут, что это есть не только непонимание, но и неуважение к слову Божию: можно ли древо познания добра и зла и всю его великую мистику сводить к назначению, так сказать, порции еды человеку, к голоду и сытости, в чередовании или борьбе которых, во всяком случае, состоит «великое учреждение поста». Да и забыл Василий Великий при этом слова Евангелия: «Сын человеческий и ест, и пьет, бывает с грешниками, и все же его осуждают, как и Иоанна Крестителя, который постится». Отцы и учителя Церкви, они же сотворители всего догмата, вместо умиления к Писанию, стали его исследовать, расчленять, анатомировать, расстригать на строчки («тексты») и изъяли весь его аромат и смысл. Это были малологические предшественники Канта и малоученые предшественники Штрауса, но работавшие их приемами мысли и знания. Христианство в них потеряло наивность и сердечность, против чего ни у кого, кроме разбойника, не поднялась бы рука. Дитя беззащитно, но вместе оно и защищено эту самую своею беззащитностью и одновременно миловидностью; в Отцах Церкви и с построением догмата оно потеряло наивность и прелесть, трогательность и силу привлечения. Оно стало мужиком, превратившись в Свеаборг; ну а есть такие пушки, которых ядра и через Свеаборг перелетают, и на всяком здорового мужика — найдется еще более здоровый. Началась борьба против Церкви, умственная, умная, ученая; выступили Штраусы, Гарнаки, перед которыми Оригены оказались неучеными мальчиками. Выступил Вольтер и его смех, Ренан и его скептицизм. Ну, поставлю я перед Вольтером младенца: он станет серьезен, нет предмета для шутки; пропою перед Ренаном колыбельную песню — он умилится; прочту Гарнаку вход в Иерусалим — и сухой немец воскликнет с израильянами: «Благословен Грядый во имя Господне».

Христианство перестало быть умилительно «с догматом», и на него перестали умиляться. Просто — его перестали любить. Вот великий факт, против которого «догматисты» зажгли на западе костры, у нас — срубы, не понимая, что дело не в ереси и не в еретике, а в том, что самими догматистами введен был в христианство главный и первоначальный яд: срыва момента умиления и замены его моментом мнимой убедительности, доказательности. Право, у меня может быть такой учитель геометрии, что в теореме-то его я убежусь, а затем возьму учебник да и ударю им самого учителя по голове. Бывают всякие несносные люди, даже из самых умных.

Никто не падает на колени за литургией при пении «Верую», да и самое-то пение прозаично. Но когда запоят Херувимскую, — хотя смысл ее никому не изъясним, — все сами склоняют колена, главное — сами... И счастливы склонить главы. Перед Евангелием все человечество и было счастливо склонить главы. Ведь за что-нибудь умирать же мученики, ведь не по «повелению Бога»: это слишком сухо, да и повеления такого никогда не бывало. Ну вот теперь стоит «догматическое здание» Церкви: Свеаборг штурмуется, а люди проходят мимо, одни подсмеиваясь, другие немного жалея, но никто — до муки, до принятия тернового венца за Свеаборг. И ведь все чувствуют, что он падает, падает. Жалуют, качают головами, находят опасным это для цивилизации, для народа, для устойчивости правительственной, и вообще по тысяче утилитарных соображений, заметьте — все утилитарных, все именно не небесных. Небесного-то, «херувимской»-то «песни» в церкви и не чувствуется; «души»-то в ней нет, а одно тело. Ну, представьте, на виду всей цивилизации, народов, человечества, какой-нибудь Полифем до неба поднял бы тысячепудовую дубину против безвинно и доверчиво на него смотрящего младенца: нашлись бы мученики, бросились бы под дубину и свою кровью заплатили бы за счастье выхватить беззащитного из опасности. На пожарах и бывает это, бывают чудеса самопожертвования. Отчего же их нет около великого божественного здания Церкви? Мне кажется, Бог есть милое из милого, центр мирового умиления: и вот с потерей Церковью «милого» мне брезжится, что Бог отлетел от нее. Что как только начали догматики «строить» с мыслью, что Христос не сумел Сам защитить свое дело, так Христос невидимо заплакал и отошел от строящих. Свеаборг потому и берется, что ведь он пуст. Он только хитро построен, а Защитника-то и нет, «Помощника и Покровителя» — скажем словом Иоанна Дамаскина.

«Дух веет иде же хошет...» и еще «истинно говорю вам: хула на Сына Человеческого простится вам, но хула на Духа Святого не простится ни в жизни сей, ни в будущей». Кстати, эти слова Спасителя подрывают один из основных догматов: о равенстве лиц Пресвятой Троицы. В каком-то одном отношении, здесь указанном Христом, Дух Святой имеет преимущество перед Сыном Божиим. Вообще — «Троица» вся божественна, но она вовсе не исповедима и, равная в Себе, равная вовсе не арифметическим равенством, как это по-мужицки «умеренно» в догмате, а имеет выпуклости, органическое сепление, горы и пропасти в себе: словом, Троица — глубь миров, перед которою мал и прост и не сложен наш видимый мир. Возвращаюсь к Духу Святому: вот проступком против Него и является догматизм как метод. И Дитя-Христос и удалился из нашего Свеаборга не только от того, что мы не поверили слову Его о полевых лилиях: это еще хула на Сына Божия, и за Себя Христос нам простил бы, но мы похулили Дух Святой, «который дышит иде же хошет», задумав дать этому Святому Духу медные латы для защищения. Отсутствие надежды на Бога, да и не ее одной: «веры, надежды и

любви» — вот что сказалось в догматизме христианства. Теперь эти три добродетели — только присловие в разговорах. Как и «догмат о Троице», это какой-то арифметический треугольник, из которого не мерцает ни которое, в сущности, Лицо.

Мы угасили дух пророчества в себе. Бытие догмата угасило возможность пророчества. Мы чрезвычайно обеднели даже сравнительно с ветхозаветным еврейством. В Евангелии Троица светится таким особенным, богатым бесконечным светом, что и я, и всякий могли бы еще обратиться к Отцу Небесному в нужном случае жизни, не повторяя слова Иисуса и «не приводя текста», но свое новое творя слово. Ибо Иисус говорил к Отцу, но Он не закрыл Отца перед людьми. Я говорю, что слово каждого из нас могло бы быть вдохновенно, и неужели, например, в случае Повало-Швейковского этот человек в защиту детей своих не мог бы воззвать к Отцу Небесному, так сказать, «в силе Илии». Но теперь, когда есть «догмат о Троице», безглагольный, без пульса в себе, — Повало-Швейковскому вовсе даже и не пришел на ум Отец Небесный. Догмат вообще закрыл все три лица Пресвятой Троицы, самого Христа обратив в начетчика, который принес на землю только кучу текстов. Из этих текстов выбрали нужный и припечатали им мокрую петербургскую курицу так, что у нее спина по гроб болела. Вот одно из деяний Свеаборга. Да и все-то так стало. На текстах и на «соборных уложениях» зажгли костры, отняли свободу, заставили повиноваться властям предержавшим, включительно до зверя-помещика и чиновника-казнокрада, ну и дальше в том же роде, все без противоречия догмату, пока не поднялся штурм на целостный Свеаборг, при равнодушии, а частью и при язвительных насмешках проходящих. Повалился «Дух Святой», догматизм, в латах, как у Александра Невского; как херувим картонный с рождественской елки. Но и неужели в самом деле на земле религия падает, религиозное исчезает, небо закрывается? Слышим слово Спасителя, на этот раз как бы уклончивое и уже издали раздающееся: «Дух дышит иде же хочет», и другое, вещее: «Я вам пошлю Утешителя, Духа Истины, который наставит вас всему».

«Вопрос о догмате» поднялся в связи с вопросом о творчестве в христианстве. Настаивая и доказывая а-догматичность христианства, я только говорю, что это творчество может быть бесконечно, и как бы отворяю ворота в это творчество. Но нужно ли оно? Здесь я должен изменить тон своих слов и, обратившись к слушателям, как братьям по вере, по сердцу, спросить: «Братья, да как же мы можем хотя на минуту удерживаться перед мыслью о творчестве, если признать его в христианстве — значит сейчас усомниться в божественности, в самом мессианстве его». Вот это лето вышла книжка, — имя автора забыл, — о мессианских местах прор. Исаии. Покупаю и приношу домой, раскрываю: известные слова, что вот «ляжет овца около льва и волк около ягненка», — «суть несомненные, по автору, слова мессианского характера, указующие на личность Христа, ибо Христос принес на землю эру такого мира». Слова эти как бы заставили меня пасть на пол. Все богословские книги так написаны. Все эти книги суть какая-то красивая сомнамбула. Быть богословом — значит спать и видеть видения. Дело в том, что автор книги на том основании и изъясняет мессианский смысл данного пророчества Исаии, что вся эра наша, т. е. уже фактически, есть эра небывалого до Христа мира на земле, каковой только можно сравнить с лежанием овцы около льва. Тут поразителен тон книги. И не спит автор, ибо ведь писал, но он хуже чем спит. Его невозможно пробудить от догматического сна. Так, в «догматах» написано: «примирил», «искупил», «загладил грехи», и Ориген изъяснил, что овца легла около тигра, и, значит, Мессия пришел. Это связь уравнений, связь слов; в задачах арифметических пишется: «купец купил столько-то сукна, поделил пяти сыновьям и осталось столько-то», хотя все знают, что никакого купца нет и дележа не было. Все для «примера»; вот и догматы построены для какого-то «словесного примера с полным убеждением самих догматиков, что ничего соответствующего им нет». Написано: «мир на земле», и он говорит — «мир». Указывают на старообрядцев, рассаженных по тюрьмам, на инквизицию, на вырезание перуанцев и инков, он это хорошо знает: «это по кафедре истории церкви, а я читаю догматику: по моей кафедре стоит на земле мир». Ну а в христианстве как? «Кафедра догматики, — отвечает он, — основная, а история церкви — прикладная кафедра, иллюстрирующая. Поэтому на земле вообще должен быть мир и есть мир, не принимая во внимание бывающих исключений». Я здесь вам напоминаю об ученике по геометрии, который, после доказанной ему теоремы, разбивает голову учителю. Положение христианства не только не умиротворено, но оно полно решительного отчаяния, уже не от нападков на него, но от равнодушия к нему: а потому, что внутри его собственных стен сидит несколько Акакиев Акакиевичей, несколько Собакевичей, которые спорят о каких-то мертвых душах и что-то между собою делают.

По моему представлению, исторические судьбы христианства — тайна. Тайна заключается в такой великой иллюзии, выше которой никогда не создавалось, и в такой отвечающей этому комической действительности, ниже которой, пожалуй, тоже ничего не создавалось. Взять только дивные пророчества мессианские о семени жены, стершем главу Змия, о конечной победе над диаволом: посмотрите — ведь это небо стелется в словах и земля вся зацветает в каком-то невыразимом обилии, счастья, красоте, славе. И представьте, Акакии Акакиевичи нам твердят, что все уже сбылось, патока течет по земле, нет ни пьяницы, режущего ради 3 целковых товарища, «чтобы опохмелиться», ни скопцов с отрезанными органами, ни ежовых рукавиц миссионерства, ни пресловутых «дел» духовных консисторий. Легла овца около тигра, «сбылось»... Да позвольте: не может ли робкое и честное сердце сказать: «не сбылось, ничему не верю. Маленький я человек, и маленькое во мне сердце, но и им я сужу, что на земле Содом и Гоморра, а не мир и искупление, и не ягненок около льва, а несколько злобных крыс, пожирающих одна другую в зловонной клетке». Я веду слово к творчеству. Ведь ничего, ничего этому честному маленькому сердцу не ответят все догматики, самые мудрые люди, ни Гарнаки, ни Ренаны, ни Отцы Святые. Представьте, может ответить только наше собрание и этим роковым вопросом, который оно поставило. В эту минуту наше собрание велико; «утешься, — может оно сказать, — ничего нет, но... может быть». Конечно, это же слово, то же отодвигание дела вперед, может быть обман, может быть иллюзия. Но это не немедленное, не сей час отчаяние. А то ведь сейчас только равнодушные, похожие на алкоголика, режущего для опохмеления товарища, живут вне отчаяния. Эти алкоголики иногда утешают нас: «что же, мало сбылось, пожалуй. Но старайтесь, но упражняйтесь. Возрастайте в добродетели и близьте Царство Небесное». — Как будто мессианство и не состоит все во «вдруг, разом, сейчас», не состоит в магии, магическом действии и преобразовании вещей. Что это такое за «мессианство», которое зависит от хорошего расположения моего духа? И Сократ учил, что «послушают его — будет хорошо», и Спенсер так учил. Тайна мессианства во «вдруг», «по всей земле», «против желания людей». Это как дуновение вулкана на Мартинике. Секунда — и не стало ничего, и мессианство содержит обещание такового же дуновения, но благодатного: секунда — и выросло все, деревья стали давать вместо ста тысячу плодов. Так ведь в Апокалипсисе об открытии древа жизни сказано. Мессианство — магия, святая сказка, но могущественнее всякой реальности, воочию имеющая наступить, дневная, очевидная. Поэтому когда говорят, что оно не исполнилось оттого, что в добродетели мало упражняются, то просто уравнивают Христа со Спенсером: и так поступают богословы-моралисты, писатели бесчисленных духовных статей. — Говоря таким образом о творчестве, я не говорю о «мало-помалу» в христианстве, не предлагаю этого выдохшегося успокоительного опиума, а о том, что мы и вообще весь христианский мир стоим перед дилеммой, или признать, что что-то еще не открылось в христианстве, что народы просто прошли мимо Христа, завернули по ошибке в какой-то закоулочек, когда площадь, озаренная огнями, была перед ними, или что некуда идти, незачем идти: нет вообще никакой площади, а только закоулочки и их путаница в каком-то скверном уездном городишке. В последнем случае — отчаяние, во втором — какое-то «может быть».



